

РУССКОЕ ГОРАЦИАНСТВО И ПУШКИНСКОЕ ПОСЛАНИЕ «К ВЕЛЬМОЖЕ»

Один из шедевров зрелого Пушкина, послание «К вельможе» (1830), неоднократно становилось предметом внимания в отечественной филологии. Предмет нашей работы — трактовка римской темы и некоторые общие аспекты, с ней связанные.

Послание заканчивается развернутым сравнением:

Так, вихорь дел забыв для муз и неги праздной,
В тени порфирных бань и мраморных палат,
Вельможи римские встречали свой закат,
И к ним издалека то воин, то оратор,
То консул молодой, то сумрачный диктатор
Являлись день-другой роскошно отдохнуть,
Вздохнуть о пристани и вновь пуститься в путь.
(III, 220)

В посвященной посланию статье В. Э. Вацуро говорит об изменении темы «античности» в конце стихотворения: «Это уже не “горацианство” и не антологическая Греция. Это римский мир периода упадка, с вельможами, встречающими свою физическую и историческую гибель “в тени порфирных бань и мраморных палат”», — и приводит в параллель пушкинский замысел о Клеопатре.¹ В общем виде с этой формулировкой нельзя не согласиться. Однако она рождает вопрос: римский мир периода упадка чего изображен здесь и в каком отношении можно противопоставлять его «горацианству»? Можно ли датировать историческую зарисовку, венчающую послание?

Такую возможность дает упоминание диктатора. Если не бояться некоторого педантизма в отношении пушкинского текста, можно заметить, что, согласно Антониеву закону (*lex Antonia de dictatura in perpetuum tollenda*, — принят в консульство Марка Антония в 44 г. до н. э.), диктатура была уничтожена в Риме под страхом смертной казни для диктатора и лица, выдвинувшего его кандидатуру,² и с тех пор в Риме диктаторов не было никогда. Таким обра-

¹ Вацуро В. Э. «К вельможе» // Вацуро В. Э. Пушкинская пора. СПб., 2000. С. 211.

² См.: Бартошек М. Римское право: Понятия, термины, определения. М., 1989. С. 182. Цицерон в пятой филиппике, произнесенной 1 января 43 г. на заседании сената, в присутствии новых консулов Гирция и Пансы, описывает этот

зом, «сумрачный диктатор» дает *terminus ante quem* для пушкинской картины. Пушкин мог не знать об этом законе, но последний политик, с которым у него ассоциировалось понятие диктатуры, был Юлий Цезарь — и, следовательно, картина, изображаемая Пушкиным, имела место не позднее марта 44 года.

Далее, диктатура конституционного типа, как экстраординарная магистратура со сроком не более 6 месяцев, применялась в последний раз во время Второй Пунической войны (202 г.; Ливий, XXX, 26, 12),³ — а вслед за этим, с перерывом более чем в столетие, возникают диктатуры с неопределенным сроком, Суллы и Цезаря (82 и 47 г. до н. э. соответственно).⁴ Век конституционных диктатур, век Фабия Максима и Катона Старшего, III век до н. э., слишком близок к образу старой римской добродетели, чтоб оправдать вельможескую пышность, изображенную Пушкиным, и соответствовать представлению о «закате» чего бы то ни было, — напротив, это драматический и героический век двух Пунических войн, изображение которого составило славу Ливия и Петрарки и подавало надежды на славу Силию Италику и Триссино. Есть основания полагать, что «сумрачный диктатор» относится к эпохе гражданских войн, что «римский упадок» в финале послания есть упадок Республики, захватывающий период до смерти Цезаря, то есть еще до начала литературной деятельности Горация. Дополнительным доводом в пользу этого является эпитет *сумрачный*, куда лучше относящийся к человеку, чья власть отягощена нечистой совестью, к Сулле и Цезарю, нежели к Камиллу и Фабию (ср. знаменитую *ἀντίλαβή* в «Борисе Годунове»: «Как он угрюм! — Достиг я высшей власти...»)

Кроме того, и «консул *молодой*» дает основания отметить пушкинскую точность. Правильно избранный консул молодым быть не мог: по Виллиеву закону (*lex Villia annalis*, 180 г. до н. э.) минимальный возраст для занятия консульской должности был 42 года, а по сулланскому законодательству (*lex Cornelia de magistratibus*, 81 г. до н. э.) — 43 года. «Консул молодой» — это, например, 27-летний Марий Младший в 82 г. до н. э. или даже 36-летний Гней Помпей в 70 г. до н. э. В целом строка «То консул молодой, то сумрачный диктатор» дает картину последовательных мутаций верховной власти в эпоху чрезвычайных положений. Здесь, в самом

закон как хорошую меру, но принятую неправильным порядком и насильственно, так что хорошо бы принять этот закон вновь, должным порядком («Филиппики», V, 4, 10).

³ Ср.: Дементьева В. В. Магистратура диктатора в ранней Римской республике (V—III вв. до н. э.). Ярославль, 1996. С. 72—77.

⁴ Там же. С. 118—119.

деле, уместно вспомнить пушкинский интерес к Клеопатре, но едва ли возможно противопоставлять эту римскую картину «горацианству»: мир «римских вельмож» в финале послания — это именно та эпоха и та среда, где горацианство как жизненная философия зацветает и растет. Напротив, нам представляется, что одна из важнейших черт пушкинского послания — новый взгляд на горацианство. Оно перестает быть «веселым любомудрием», годным на все века, которое надо практиковать как жизненную норму и литературную позу, а становится историко-культурным явлением, которое типологически сближает вельможу конца Республики с русским вельможей екатерининской поры. Соглашаясь с формулировкой: «Юсупов воспринимался Пушкиным с его как бы эстетической стороны»,⁵ — мы хотим напомнить, что любое эстетическое восприятие предполагает принципиальную дистанцированность от объекта.

Послание имело эпиграф, в окончательной редакции снятый, — «Carpe diem!» (III, 823). Он взят из финального стиха горациевской оды I, 11, представляющего собой одну из самых расхожих формул горацианской философии, и если и был почему-то снят, то, надо полагать, лишь вследствие прямолинейности производимого им эффекта. Программные слова о цели жизни, понятой адресатом послания,⁶ находят воплощение в занятиях его молодости; трактовка испанских впечатлений как своего рода театральной сцены с экзотическими декорациями, вызывавшая недоумение еще у Г. А. Луковского,⁷ должна быть рассмотрена не как неисторический взгляд на Испанию, а как исторический взгляд на русского горацианца, «умно разнообразящего» наслаждения жизни: после «светской» и «философской» Франции и «политической» Британии появляется «литературно-театральная» Испания.

Зачин послания содержит горациевские реминисценции. С упоминанием Зефира как признака весны («От северных оков освобождая мир, / Лишь только на поля, струясь, дохнет зефир...» — III, 217) можно сравнить оду Горация I, 4 («Solvitur acris hiems grata uice ueris et Fauoni» — «Жгучая тает зима с возвращением вешнего Фавона»), имевшую к 1830 году не менее 18 опубликованных переводов, в том числе В. В. Капниста и А. Ф. Мерзлякова,⁸ а также IV, 7 (ей подражает Г. Р. Державин в своей «Весне»)

⁵ Городецкий Б. П. Лирика Пушкина. М.; Л., 1962. С. 418.

⁶ См.: Вацуро В. Э. «К вельможе». С. 205—206.

⁷ См.: Луковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. [М.], 1948. С. 305.

⁸ См.: Свиясов Е. В. Античная поэзия в русских переводах XVIII—XX вв.: Библиографический указатель. СПб., 1998. С. 276.

и IV, 12; ср. также визит Горация к Меценату в начале весны, когда подует Зефир (Epist. VII, 13). Пушкин открывает стихотворение указанием на годовой цикл и подводит итог судьбе Юсупова указанием на цикл исторический: «И видишь оборот во всем кругообразный» (III, 220). Этим мотивировано финальное сближение двух «горациевских» веков, римского и русского, подготовленное, помимо прочего, одной римской идеологемой. В строках «Что благосклонствуешь ты музам в тишине, / Что ими в праздности ты дышишь благородной» (III, 219) выражение *праздность благородная* можно трактовать как кальку термина ‘otium cum dignitate’, причем применительно к Юсупову это можно понять и в смысле «почетной отставки в связи с преклонным возрастом»,⁹ и в философски отрефлексированном смысле: «досуг, посвященный философским занятиям» (ср.: Цицерон. «О старости», 49; «Об обязанностях», I, 69–70).

Пушкин нашел случай и для затаенной насмешки над горацианством. Упоминание о посмертной судьбе Вольтера («Приятель твой Вольтер, / Превратности судеб разительный пример, / Не успокоившись и в гробовом жилище, / Доныне странствует с кладбища на кладбище» — III, 219) оксюморонным сочетанием *гробовое жилище* напоминает о каламбурах на тему жизни и смерти, играющих столь важную роль в написанном несколькими месяцами позже «Гробовщике». Есть, однако, существенное различие между последним беспокойством Вольтера и афоризмами вроде «Живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет» (VIII, 90). Пафос горациевского «*carpe diem*» был связан с чувством непрочности и непредсказуемости жизненных обстоятельств, доверяться которым невозможно. Прежде чем образ «гроба-дома» был задействован Пушкиным, он был предопределен самим Горацием: «Nulla certior tamen / rapacis Orci fine destinata / aula divitem manet / erum» (Carm. II, 18, 29–32) — и афористически передан в державинском переложении этой оды — стихотворении «Ко второму соседу»: «Надежней гроба дома нет: / Богатым он отверст и бедным; / И царь, и раб в него придет...».¹⁰ Обращаясь к Н. Б. Юсупову, человеку, который был воплощением горацианского «веселого любомудрия» в русском изводе, Пушкин берет образ из горациевской традиции и разворачивает его так, что он начинает выглядеть как карнавализованная дискредитация горацианской идеи: «надежный дом» не дает ни надежности, ни покоя, открывая возможности для скитаний не менее увлекательных, нежели выпавшие Вольтеру при жиз-

⁹ Межерицкий Я. Ю. ‘Iners otium’ // Быт и история в античности / Под ред. Г. С. Кнабе. М., 1988. С. 45.

¹⁰ Державин Г. Р. Соч. СПб., 2002. С. 330 («Б-ка поэта». Большая сер.).

ни. Каковы бы ни были функции этой шутки в структуре послания, можно заметить, что она оказалась возможной в связи с дистанцированным взглядом на горадианство.

В осмыслении русского горадианства Пушкин опирался на поэтические тексты, в которых оно воплощалось. К стихотворным посланиям, уже фигурировавшим в науке в связи с пушкинским,¹¹ следует прибавить еще одно: ряд параллелей связывает его с «Эпистолой к его превосходительству Ивану Петровичу Тургеневу» М. Н. Муравьева.¹²

В обоих случаях античные сравнения выступают в роли композиционных скреп. У Пушкина античных сравнений всего три. Первые два обрамляют «французскую» часть, третье завершает текст, и они последовательно возрастают в объеме: 1) завершающее рассказ о Вольтере полустихие «...земных богов напитков», сопоставляющее царей с олимпийскими богами, а лесть с амвросией; 2) стих «Как любопытный скиф афинскому софисту», отсылающий не столько к античным сведениям об Анахарсисе,¹³ сколько к роману Ж.-Ж. Бартеlemi «Путешествие юного Анахарсиса в Грецию» (1788), продуцировавшему отождествление «скифа» с русским, приобщающимся европейской культуре, а «Афин» — с Парижем, — модель, принятая, в частности, в «Письмах русского путешественника» Карамзина и особенно выразительная при посещении Путешественником самого Бартеlemi; 3) развернутое сравнение в финале послания.

У Муравьева античные сравнения применены четырежды: описание человека, не владеющего страстями, суммировано стихом «И посреди воды был жажден, как Тантал»;¹⁴ описание добродетели человека, умеющего властвовать над собой, венчается сравнением с римским полководцем Эмилием Павлом, равно великим и в быту, и в битве при Каннах;¹⁵ раздел об отношении человека к государ-

¹¹ См.: Вацуро В. Э. «К вельможе». С. 200—203; Стенник Ю. В. Пушкин и русская литература XVIII века. СПб., 1995. С. 309—311.

¹² Опул.: Вестник Европы. 1810. Ч. 51. № 9. С. 42—45 (под заглавием «Послание к его превосходительству Ивану Петровичу Тургеневу, 1774 года»).

¹³ Легендарный философ-скиф, учившийся у эллинов, сделался к поздней античности назидательной, но содержательно скудной фигурой «мудреца от варваров»; см.: Геродот. История. IV. 46, 76—78; Цицерон. Тускуланские беседы. V. 32. 90; Апулей. Апология. 24 и пр. Плутарх сделал его главным героем «Пира семи мудрецов», Лукиан посвятил ему два диалога, «Анахарсис» и «Скиф».

¹⁴ Муравьев М. Н. Стихотворения. Л., 1967. С. 114 («Б-ка поэта». Большая сер.).

¹⁵ «Счастливы, кто может быть семейства благодетель — / Что нужды, дом тому иль целый мир свидетель. / Таков Эмилий Павл равно достоин хвал, / Как жил в семье своей иль как при Каннах пал» (Там же).

ственной службе заканчивается развернутым примером, почерпнутым из Плутарха («Ликург», 25), о спартанце Педарете;¹⁶ в целом рассуждение о человеке «счастливом» и «полезном», занимающее большую часть «Эпистолы», закончено пересказом вергилиевской истории старика, живущего своим хозяйством («Георгики», IV, 125—148).¹⁷

Пушкинскому «программно-горацианскому» разделу «Ты понял жизни цель...» соответствует муравьевское: «Но тот, кто властвовать умеет над собою, / Один свободен тот. Не спорит он с судьбою, / Но всюду следует призыванию ея / И знает, живучи, всю цену жития»;¹⁸ отклик ему у Пушкина в полустишиях «Один все тот же ты» и «Для жизни ты живешь». Из муравьевского пассажа «И словом, счастлив тот и тот один свободен, / Кто счастья в крайностях всегда с собою сходен, / В сиянии не горд, в упадке не уныл, / В себе самом свое достоинство сокрыл...»,¹⁹ близко соответствующего началу горациевской оды II, 3, видно, что выражение «Один все тот же ты» может относиться не только к старческому консерватизму пристрастий и вкусов, но и к базовым ценностям горацианства («*similis sui*»).²⁰

Поверхностность и дилетантизм, сквозящие в обрисовке занятий Юсупова,²¹ могли быть отчасти спровоцированы муравьевской строкой «И скуку жития ученьем украшает»,²² которая, если не разделять ее пафоса, выглядит несколько инфантильной. Наконец, и у Муравьева обнаруживается калька латинской идиомы: «Что поприще честей (ср. '*cursus honoꝛum*'. — Р. Ш.) прошли без умедленья».²³

«Эпистола» Муравьева могла быть и образцом для стилизации,²⁴ каким, например, послужили Пушкину оды В. П. Петрова при создании послания «<Н. С. Мордвинову>» (1825—1827?). Мы, однако, хотели бы подчеркнуть другой аспект: муравьевское

¹⁶ «Из трехсот праздных мест Спартанского совета / Народ ни на одно не выбрал Педарета. / «Хвала богам, — сказал, народа не вина, — / Есть треста человек достойнее меня» (Муравьев М. Н. Стихотворения. С. 115).

¹⁷ См.: Там же.

¹⁸ Там же. С. 114.

¹⁹ Там же. С. 115.

²⁰ См.: Шмариков Р. Л. «Себе лишь подобен» // Вопросы литературы. 2006. №5. С. 283—303.

²¹ См.: Городецкий Б. П. Лирика Пушкина. С. 416 pass.; Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826—1830). М., 1967. С. 429—430; ср. также: Вацуро В. Э. «К вельможе». С. 182.

²² Муравьев М. Н. Стихотворения. С. 115.

²³ Там же. С. 114.

²⁴ См.: Вацуро В. Э. «К вельможе». С. 204—205.

послание давало материал для размышлений над природой и фразеологией русского горадианства, — размышлений, приведших, в конечном счете, к объективации горадианства, привязке его к историческому «месту и времени», аналогичной той, что произведена в «<Повести из римской жизни>».

Роман Шмариков

НАБРОСОК ПУШКИНА «ВЕЗУВИЙ ЗЕВ ОТКРЫЛ...»

Текст, источники, контексты

В русской поэтической помпеиниаде XIX — начала XX в.¹ пушкинский черновой набросок «Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя...» (1834) стоит особняком, ибо представляет собой отклик на знаменитую картину Брюллова «Последний день Помпеи». Как писал П. В. Анненков, первым опубликовавший расшифровку плохо читаемого черновика в «Материалах для биографии Александра Сергеевича Пушкина», «под живым впечатлением знаменитого произведения К. П. Брюллова: Последний день Помпеи, Пушкин начал поэтическую картину извержения Везувия и гибели древнего города, с ясным намерением идти не только параллельно с живописным рассказом художника, но и передать его одушевление, его энергию и краски».²

По всей вероятности, Пушкин успел посмотреть «Последний день Помпеи» в Эрмитаже до своего отъезда 17 августа 1834 года из Петербурга через Москву в Полотняный Завод к семье, откуда он, снова через Москву, отправился в Болдино. 12 августа газета «Санкт-Петербургские ведомости» извещала читателей:

Знаменитая картина Г. Карла Брюллова, *Последний день Помпеи*, уже около двух недель привезена в С<анкт>П<етер>бург и находится в Эрмитаже, в той комнате, где покойный Г. Дов рисовал портреты генералов. Говорят, что она будет в непродолжительном времени выставлена для публички.

¹ См. о ней: Долинин А. Гибель Помпеи в русской поэзии XIX века: Тексты и контексты. Статья первая // Acta Slavica Estonica XVII. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение XII. Tartu, 2023. С. 113–136.

² Анненков П. В. Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина. СПб., 1855. С. 354.